

▶ ПОЭЗИЯ ДУШИ | Этюды к 200-летию М. Ю. Л.

# По лермонтовскому следу



ВЛАДИСЛАВ АРИСТОВ

Окончание.  
Начало в № 107, 110, 113, 116.

**Ребёнком он пережил раннюю смерть матери, затем пожизненную разлуку с единственно близким человеком – отцом (самая первая драма, да нет, трагедия юного поэта написана в 1830 году – «Люди и страсти» об этом).**

## Три молитвы

Он любил и был любим, но любовь не рождала счастья ни ему, ни любимым; он беззаветно, мудро, пророчески любил родину и Родину; он более чем профессионально, то есть бесстрашно и умело, воевал, а убит был бывшим товарищем по профессии – майором в отставке. Он плакал, когда увидел маленькую девочку – дочь когда-то любимой женщины – и написал изумительное стихотворение «Ребёнку»

*Бледная, может быть,  
она произносила  
Название,  
теперь забытое тобой...  
Не вспоминай его...  
Что имя? – звук пустой!*

И перед Высшей Волей, перед Богом оставался человеком. Даже когда в другом стихотворении – послании любимой женщине – он напишет:

*Послушай, быть может,  
когда мы покинем  
Навек этот мир,  
где душою так стынем,  
Быть может, в стране,  
где не знают обману  
Ты ангелом будешь,  
я демоном стану!*

Он остается по-земному справедливым к тому, что мы называем судьбой. Он осознает, что прежде чем оказаться в «стране, не знающей обману», человеку следует войти в общение с Властелином этой страны и, прежде всего, через молитву, и Лермонтов сотворит три «Молитвы»; и если в самой первой, самой ранней (поэту – 16 лет) он молит:

*Не обвиняй меня, весельный,  
И не карай меня, молю,  
За то, что мрак земли мозильный  
С его страстями я люблю...*

– то в последней, гениально светлой, «чудной» молитве, написанной вскоре после гибели Пушкина и последовавшей дуэли с Эрнестом де Барантом, сыном французского посла, поэтическое озарение предельно приближает земное, человеческое слово к высшему логосу:

*Есть сила благодатная  
В созвучьи слов живых,  
И дышит непонятная  
Святая прелесть в них.*

И это в «минуту жизни трудную...» и оттого

*...И верится и плачется,  
И так легко, легко...*

Да, однажды поэт провидчески прорицает о своей душе: «Душа моя должна прожить в земной неволе/ Недолго...»; но взор его охватывает всю полноту и глубину земного мироустройства: от «Когда волнуется желтеющая нива/ И свежий лес шумит при звуке ветерка...» до «И счастье я могу постигнуть на земле./ И в небесах я вижу бога...»

Поэт передает читателю, то есть нам всем, свой опыт постижения сущностного смысла жизни как восхождения от камерно-своевольного «я» к Высшей Воле мира сего. Он помогает нам не затеряться в хаосе бытия, в лабиринтах нашей жизни...

Остается вспомнить, что ровно через полвека композитор А. Рубинштейн создаст великолепную оперу «Демон», а другой гений русского духа, художник М. Врубель напишет неисчерпаемо прекрасные образы: «Демон сидящий» – «Демон летящий» – «Демон поверженный», фрески в Кирилловской церкви и эскизы композиций к фрескам Владимирского собора в Киеве.

## Окно и балкон

Вернее балкончик, перед ним оказываешься, когда обходишь домик, помнится, оглябая углы слева направо, попадаешь в укромный дворик и видишь его и цепенеешь от трепетной мысли: вот здесь-здесь! он сидел вечерами и, всматриваясь в дивную, неодолимо зовущую даль, увенчанную иссиня-серебристым двуглавым сфинксом, погружался или отлетал в то, что мы называем вдохновением, и вписывал в записную книжку, подаренную в Петербурге князем Одоевским перед последним своим отъездом на Кавказ, последние стихи в последние вечера своей жизни.

И прежде чем включиться в эзотерическую память о тех вечерах, ещё раз осматриваюсь и обнаруживаю, что та дивная даль с Шат-горою на слегка мерцающем горизонте перекрыта оградой и строениями, и продублировать тот лермонтовский взор в глубину надгробного пространства невозможно.

Правее балкончика – окно спальни-кабинета поэта. Хозяин домика Василий Иванович Чиляев – чиновник военной комендатуры пятигорской крепости – вспоминает: «В то лето Михаил Юрьевич работал большую часть в кабинете... работал он при открытом окне, под которым стояло черешневое дерево, сплошь усыпанное в тот год черешнями, так что, работая, он машинально протягивал руку, срывал черешню и лакомился ими».

Ныне сада нет, его изжили; дворик обустроен по-современному – рационально и экономно: скромный цветник, дорожки из речного булыжника, ближе к балкону скачует одинокий платан, от него пять ступеней, словно миниатюрные горные терраски, приглашают тебя подняться на балкон, но внутреннее табу тебя не пускает. К тому же тот чиляевский балкон был за ветхостью снесён, а этот балкон – новодел, ничего о поэте-поручике не ведают... вот если бы ему открывался Эльбрус, то память пространства сработала бы... В самый раз подумать и что-то внять о памяти свыше – она осеняет нас, когда мы доверяемся прошлому безоглядно.

## Последний возглас поэта

Когда, набирая высоту, проходишь к Золовой арфе, к провалу и взлетаешь восторженным взором над просторами предгорий от окраин Пятигорска до Бермамыта на западе, Эльбруса и Дыхтау на юге и Казбека на востоке, невольно вспоминаешь, что иногда по утрам Лермонтов на красавце-скакуне Черкесе (его поэт купил тотчас по приезде в Пятигорск) в бешеной скачке уносился туда, где «...Немая степь синее, и венцом/ Серебряным Кавказ ее объемлет...» Так в этой «немой синеве» в «серебряном» свете высоты возникает поэзия движения, поэзия любви к пространству и любви обратной, той самой пастернаковской... Лермонтов погружается в стихию движения, чистого, самозабвенного, бесстрашного... его поэтический

нерв обнажается с новой силой: в записной книжке летучим чудом появляются шедевры: обжигающий предсмертным «ожаром» «Сон», прозрачное «Они любили друг друга так долго и нежно...», певуче-трагические «Тамара» и «Свидание», «жестокую бурей гонимый» изгнанник «Листок», сказочно-фантомная «Морская царевна», светящаяся таинственной тоской «Нет, не тебя так пылко я люблю...», пылающий библейским гневом «Пророк» и, наконец, «Выхожу один я на дорогу...» – гимн беспредельному одиночеству, обречённому выжлять жизненные силы и в смертном... Великая величественная поэзия. Рассудок не в силах охватить небо и твердь этих стихов, остаётся внимать им построчно – построчно – по слову.

Когда они проникли сквозь стену спонтанного безмолвия, поминально возведённую после смерти Пушкина, не все, но многие хранители и ценители русской поэзии увидели в Лермонтове прямого преемника первого поэта России и поневоле сравнивали их предназначение, их поэтическую волю. Несколько примеров. Ю. Самарин: «Смерть Пушкина вызвала Лермонтова из неизвестности, и Лермонтов в большинстве своих произведений был отголоском Пушкина,

но уже среди нового, лучшего поколения». П. Вяземский: «...равно как в Лермонтове отразился Пушкин». А. Дружинин: «...Он привязался к Кавказу... с помощью своего великого дарования сделал для Кавказа то, что для России было сделано Пушкиным». И. Панаев: «...Его мирозерцание уже гораздо шире и глубже Пушкина – в этом почти все согласны». В. Белинский: «...Мы лишились в Лермонтове поэта, который по содержанию шагнул бы дальше Пушкина».

Интригующе интересны сопоставительные высказывания Д. Мережковского в упомянутой ранее статье; вот несколько принципиальных интенций:

– ...Мгновенное освобождение от пошлости происходит с ним после дуэли Пушкина.

– У Пушкина жизнь стремится к поэзии, действие – к созерцанию. У Лермонтова поэзия стремится к жизни, созерцание – к действию.

– Лермонтов первый в русской литературе поднял религиозный вопрос о зле. Пушкин почти не касался этого вопроса. Трагедия разрешалась для него примирением эстетическим.

– «Боже мой, Боже мой! что это?» – с этим вопросом, который явился у Пушкина только в минуту смерти, Лермонтов прожил всю жизнь.

Но перед лицом своей смерти поэт адекватен её торжеству. Секундант Лермонтова, князь Васильчиков вспоминает: «Никогда не забуду того спокойного, почти весёлого выражения, которое играло на его лице перед дулом пистолета, уже направленного на него».

Выстрел.

Смерть.

Бештау закрылся грозовой тучей. Ночь накрывает всё живое и смертное на земле бескрайней мглой.

Кремнистый путь залит ливневым дождём и феерически блестит при вспышках молний.

И только в незримых для нас небесах, куда вознесутся душа и дух поэта, «торжественно и чудно!»

И как громовое эхо выстрела – смерти – вознесения души – звучит последний возглас поэта: «Я ищу свободы и покоя».